



## **А. Н. ПОТРЕСОВ**

### **Что у меньшевиков остается вне поля его зрения?**

*Социалистически маскированная деспотия есть враг социализма вдвойне. Идеология масс в качестве орудия их угнетения. Роковая ассоциация идей. Не регресс, а прогресс — конец большевистской лжи. Откровенный враг — лучший стимул к борьбе*

Где же разгадка этого неподдающегося рациональному истолкованию воображаемого преимущества большевистской правящей клики перед любым Бонапартом, перед всякой так называемой контрреволюцией? Точнее говоря: где корень предпочтения, оказываемого меньшевизмом этой клике перед всеми другими? Надо, наконец, проанализировать это странное «влечение, род недуга»!

Около времени октябрьского переворота — я еще допускаю — было на худой конец объяснимо, хотя для меня и тогда неприемлемо, говорить в известном условном смысле о заблуждающемся и вредном в своем утопизме, но все же как будто бы революционном представительстве социалистического пролетариата. И могло тогда же казаться правильным отсюда выводить свои политические заключения, свою политическую ориентацию.

Но теперь-то, в дни приближающейся десятилетней даты самодержавия большевиков этих предпосылок — ошибочных или верных — давно уже нет даже в меньшевистском кругу представлений. Бюрократический механизм советской власти явственно для всех превратился в орудие олигархической клики. Даже единственная всеобъемлющая партия монополистка, партия коммунистическая, заметно дифференцирована на управляющих и управляемых. По всему фронту развертывается хищная свалка интересов. Пробуждены аппетиты. В безобразно уродливой, мучительной форме протекает процесс капиталистического первоначального накопления... От подъема революционных лет не осталось и следа. Волны окончательно спали, и на их месте водворилась гладь реакции, депрессия усталости, безволия и бессилия. Ущемлено крестьянство в своих каждодневных интересах, но больше всего обделен, обездолен, зажат в кулак, морально разбит и политически уничтожен именно тот самый пролетариат, имя которого посто-

янно произносится всеу олигархической диктатурой и чье имя когда-то, в злополучные дни «октября», прикрепленное к новой власти, сбило с толку и направило на ложный путь меньшевизм...

Что же, спрашивается теперь, после десятилетней консолидации этой власти, когда миражи рассеялись, когда все так обнажено и голая неподкрашенная проза жизни стучится в сознание, что же теперь продолжает, наперекор очевидности, притягивать меньшевизм к диктатуре и невольно ставить ее на некоторый пьедестал не в пример прочим деспотиям?

Как это ни дико звучит во всей своей парадоксальности, но притягивает как раз то, что можно назвать — великою ложью советской деспотии и величайшей ложью нашего времени.

Деспотия и — пролетариат!

Деспотия и — социализм!

Деспотия и — Карл Маркс, поскольку Маркс еще не потонул в лучах ленинизма.

Ассоциация понятий, которые, по французскому выражению, *hurlent de se voir accouplées*, вопиют, видя, как их сочетают друг с другом. Выражаясь же совсем по-русски, это, с позволения сказать, — «спереди блажен муж, а сзади всякую шаташася». Особая разновидность государственности и общественности, введенная в мировой оборот с легкой руки большевизма...

Но если вдуматься в эту притягивающую силу большевистской лжи, то можно, пожалуй, понять, при посредстве каких логических операций ухитряются в этой лжи усмотреть, несмотря на всю ее одиозность, что-то положительное, некий социологический, если не прямо политический, плюс. Это по формуле, что лицемерие есть дань, приносимая добродетели пороком.

В самом деле, если деспотия, историческими условиями, вынуждается идти на ложь своего сочетания с противоположными и по существу ей враждебными умонастроениями, надевать на себя ей несвойственный идеологический костюм, то это зрелище может, разумеется, отталкивать, но оно в то же время является все же и красноречивым свидетельством неотвратимости поступательного хода истории. Костюмированная деспотия — это невольное признание всемогущества новых идей, неотразимости их напора в сумеречный век умирания старого общества и ожидания прихода нового.

Так царизм времен Петра в известном отношении вынуждался ходом вещей надевать на себя костюм европеизма, и в этом выразился несомненный прогресс того времени при всей отвратности получавшихся нередко комбинаций...

Я не знаю, таковы ли те невысказанные соображения, которые могли бы, хотя бы с известной натяжкой, мотивировать, почему

меньшевизм так бережно-осторожно обходится с большевистской маскировкой в России и так страшно боится момента, когда маски наконец спадут и реальное чудовище предстанет во всем безобразии своей натуральности. Не будем по этому поводу гадать, но во всяком случае отметим сейчас же, что, к сожалению, маскировка в России теперь не маскировка петровских времен, не маскировка прогресса, а маскировка — регрессивного метаморфоза.

Не деспотия с тяжелым сердцем, ворча и кряхтя, вынуждается идти на уступки знаменьям времени, а обратно — хаотическая вольница революции, быстро осев в своем подъеме, отступает и капитулирует перед властью, которая, демагогически наобещав ей с три короба, выявила себя как деспотия.

Использував революцию как трамплин для отпратного скачка, власть скоро и сравнительно легко получила возможность эмансипироваться от этой серой и примитивной человеческой массы, поднявшей ее на щит, но неспособной поставить ее в зависимость от себя, держать ее под своим непрерывным контролем.

Власть не подчинена этой массе, но она подчинена логике своего положения. А положение это определяется двумя кардинальными моментами, друг другу противоречащими, друг друга исключаящими. С одной стороны, реальность всероссийского оскудения, вызванного войной и революцией, дает материал для одного лишь капиталистического первоначального накопления. А с другой — свое право на существование эта власть, родившаяся из противопоставления «октября» «февралю», штыка — Учредительному собранию, — обрела лишь в последовательном и универсальном максимализме, выдав коммунистический вексель на немедленную и совершенную ликвидацию капитализма.

Инстинкт самосохранения подсказывает власти, что нельзя слишком расходиться с реальностью, и тот же инстинкт напоминает о том, что нельзя и слишком далеко идти этой реальности на встречу. Отказ от реальности — это повторение так называемого военного коммунизма, уже споткнувшегося в свое время о камень крестьянства. Отказ от коммунистического эксперимента, откровенный и решительный, — это потеря своего исторического паспорта, выданного власти максимализмом революции. Зачем диктатура, неограниченность полномочий коммунистической кучке олигархов, раз власть перестает быть символом революционного процесса устройства нового общества на обломках старого и переходит на традиционные рельсы исконного капитализма?

В результате такого лавирования между двух огней перед нами деспотия, бессильная — это само собою разумеется — создать какое-либо даже подобие пролетарско-коммунистического строя,

но бессильная также допустить и сколько-нибудь нормально развиваться капитализму, частной инициативе, даже хозяйству крестьянина. Превратив всю жизнь в противную казенщину, она и свое казенное хозяйство ведет донельзя скверно, становясь все более явственно непреодолимым препятствием для центральной задачи современной русской экономики — поднятия производительных сил. В этом отношении, благодаря своей исключительности, она обладает даже более могущественными отрицательными средствами, чем какими когда-либо обладала деспотия царей.

В силу этого мы, несомненно, приближаемся к моменту, когда во всеобщем сознании России — России народных масс, и в частности России пролетарской, — сформулируется горестная мысль, что отдав когда-то диктатуре свои неотчуждаемые права первородства, — права всенародной демократии, всенародных власти и контроля, — за чечевичную похлебку социальных благ коммунизма, она осталась при «разбитом корыте» неосуществленных надежд. Ни чечевичной похлебки, ни прав!

И вместе с тем созревает потребность — найти виноватого! Конечно, в первую голову виноватыми окажутся диктатура, правящая партия, все персонажи, что были там, наверху, у кормила правления. Но — беда в том, что не только они. Виноватыми окажутся и все те идеи, понятия, которые неразлучно ассоциировались с этой властью, с этой теперь осознанной, как несчастье России, большевистской деспотией.

Без вины виноватыми будут и социализм (за компанию с действительно виновным коммунизмом большевиков), и пролетариат, и даже Карл Маркс... Предубеждение испытывавшего жестокое разочарование массовика не станет разбираться в «тонкостях» идеологий. Рубя с плеча, оно вместе с большевистским коммунизмом зарубит и всякое государственно-общественное регулирование производства, всякое «обобществление». Десятилетняя практика большевистской диктатуры будет служить непререкаемым свидетельством банкротства всех осточертевших «измов», которыми до полного обалдения насильственно пичкался несчастный народ, попавший вместо кролика под нож социального экспериментатора.

Это будет печальный и вредный реванш — не по адресу. Но этот реванш получит, к сожалению, возможность отправляться от действительно неоспоримого факта, что вкрапление социально передовых по своему происхождению, но соответственно своему новому предназначению, изуродованных идей в ткань беспардоннейшей диктатуры есть обстоятельство, которое не подымает деспотию на более высокий социальный уровень, не придает ее «подлостям» некий оттенок «благородства», а действует в направлении обрат-

ном. Оно превращает «благородство» в источник сугубой «подлости», социальный идеализм и социальный идеал ставит на службу того всестороннего и всюдупроникающего коверкания жизни, которое без помощи их ореола никогда не получило бы такого размаха, такого грандиозного окрыления. Вот уже где подлинно:

Vernunft wird Unsinn,  
Wohlthat — Plage.

Разум становится глупостью, благодеяние — мукой! — Такова уж диалектика истории: что идеология пролетариата, идеология народных масс, восставших против старых форм угнетения, — именно потому, что она и х-народных масс-идеология, потому что она закрепила за собой психологическую связь свою с интересами этих масс, *может, до поры до времени, в руках представителей новых форм угнетения, в руках маскированной олигархии, стать способом продолжать завинчивать эксплуатацию гораздо дальше предела допустимого для угнетения простецкого, старозаветного, не преподносимого под пикантным соусом социальных посулов, сбивающим с толку, ставящим на голову обычное распределение понятий и не дающим ориентироваться, что к чему. «Правая, левая, где сторона?»*.

Неудивительно поэтому, что весь гигантский аппарат общественного оглушения направлен именно на то, чтобы вбить в головы народным массам непоколебимую уверенность в том, что все их страдания, их нищенские заработки, сверхурочная работа, безработица, исключительная тяжесть налогов и проч., и проч., все это многообразное выкачивание народных соков насосом бюрократической олигархии производится не в видах получения «прибавочной стоимости» верхним «десятком тысяч», как во всех иных государствах, а исключительно для утверждения коммунистически совершенного, истинно народного строя трудящихся и во славу мировой революции.

Все же отрицательное, все темные стороны советского существования — это, мол, либо наследие проклятого дореволюционного прошлого, либо вина злоумышляющего капиталистического окружения!..

И машина оглушения работает с невиданной в истории напряженностью, чтобы доказать превосходные качества деспотии и не дать общественному сознанию одуматься и хоть на минуту прийти в себя.

Ежедневная печать и толстые ежемесячники; площадные плакаты и квазинаучные труды; поэзия и проза; театры, кинематографы, танцульки и заседания ученых обществ специалистов, рефераты кружков; организационные ячейки всех сортов и видов; демон-

страции и манифестации по каждому поводу!.. Эта лихорадочная суэта официально регулируемого и официально предписанного времяпрепровождения, ударяющая вся в одну точку, преследующая единую цель, могла бы казаться бьющей ключом от избытка внутренних сил, если бы на фоне заведомого обеднения жизни, материального и духовного, эта показная, рекламно бьющая в барабан сторона не говорила как раз о хроническом неблагополучии, о той червоточине, которая разъедает организм диктатуры и заставляет постоянно прибегать к такого рода впрыскиванию искусственно возбуждающих и в то же время усыпляющих средств.

Растущие, все более обостряющиеся противоречия маскированной деспотии не остановятся, конечно, перед этой шумихой монополистов пропаганды и агитации и с тем большей силой взорвут на воздух тормозящий развитие государственный строй, чем более запоздалым и принудительно долго сдерживаемым окажется напор подпочвенных сил.

Вместе же со строем погибнет и его защитная маскировка. Пострадают, как я уже сказал, и станут надолго бессильными в массах и те социально-передовые идеи, которые имели несчастье быть ассоциированными с большевистскими теорией и практикой.

И тогда, быть может, — лучше поздно, чем никогда — наконец-то раскроются глаза у всех тех, кто до тех пор не желал признавать реальности факта, что нет более предательского, нет более злостного врага у пролетариата и его учения, чем любвеобильно-удушающие объятия советской деспотии.

Этого слишком часто не сознают не только русские меньшевики, но и социалисты в других странах, принимающие за чистую монету ходячий тезис о так называемом бонапартизме, которого-де все еще нет налицо, но который может прийти и которого приход на смену большевистской деспотии будет означать для России катастрофическое ухудшение современного положения вещей...

Нам нужно поэтому разобраться в вопросе о возможных и вероятных условиях падения советской власти в России и прежде всего уяснить себе то содержание, которое вкладывается в понятие наступления в России бонапартизма.

Бонапартизм в России? — Что такое, однако, исторический Бонапарт, этот финал великой французской революции? Как известно, приход маленького человека в треуголке означал торжество твердой власти с ее всесильной и бесконтрольной бюрократией и наведенными в стране тишиной и порядком над хаосом непрекращающейся борьбы политических партий, над беспорядочно функционировавшим, потерявшим кредит в населении и казавшимся таким бесплодным миром парламентских словопрений.

Но как раз такое торжество порядка над хаосом, бюрократии над народным представительством, объединенной деспотической воли над свободным соревнованием мнений и партий, уже предвосхищено в полной мере коммунистической олигархией у всякой будущей власти. Эту политическую функцию Бонапарта большевизм исполнил с таким исключительным совершенством, что ни один европейский режим, родившийся из бонапартистского или бонапартоподобного переворота в этом отношении не сравнится с властью, ныне существующей в России. И, следовательно, не здесь, не в сфере бесконтрольного бюрократического хозяйничанья в бессильной и в безвластной стране приходится искать того новшества, которого можно ожидать от пришельцев, сменяющих большевиков. На стезе деспотизма после большевистского десятилетия нового слова не скажешь! Но есть новшество предугазанное, и оно-то как раз и пугает меньшевиков, как и многих других представителей иностранных Социалистических партий.

Это — ликвидация всякой властью, преемницей большевистской, вместе с антикапиталистической хозяйственной политикой диктатуры, того пролетарско-социалистического (коммунистического тож) идейного вкрапления, которым парадировал большевизм. Новая власть, кто бы она ни была, первым делом порвет как с Коминтерном, так и с той существующей для внутреннего употребления «политграмотой», «политпросвещением», которые, навязываясь всем как общеобязательная истина, навязли у всех на зубах. Новая власть будет откровенно, может быть, даже и демонстративно, буржуазна. Весьма вероятно, что она будет иметь и явственно антипролетарский характер, и в отличие от большевиков станет ущемлять без излишних фраз лицемерия.

И тем не менее даже и в том наихудшем случае из всех возможных, если эта власть родится из кружкового, так сказать, «дворцового переворота», если она, на фоне затянувшейся общественной апатии, окажется в силах продолжить дальше большевистскую линию безответственного деспотизма, то и тогда мы будем все же стоять перед фактом, который при всех крайне неприятных особенностях придется с точки зрения дальнейших перспектив общественного развития расценивать как некоторый — даже знаменательный — шаг вперед по сравнению с кажущимся безысходным тупиком застойного большевизма.

Мы убедимся, что это так, если примем при этом в расчет историческую обстановку подобной смены. И прежде всего мы должны будем констатировать бессилие послебольшевистской диктатуры, несмотря на всю ее субъективную заряженность против социализма и пролетариата, в чем-либо реально, на самом деле, ухудшить

их положение по сравнению с тем воистину плачевным, каким мы находим его после десятилетнего пребывания большевиков у власти.

Мы уже отмечали, что даже меньшевистская платформа принуждена говорить о деградации и разложении пролетариата, о тяжести его переживаний в результате «экономической разрухи» и «политического бесправия». Нам нечего также распространяться и на тему о политическом небытии всякого не большевистского социализма, на костях которого оранжерейно расцвело уродливое растение официального коммунизма. Можно говорить лишь о тех элементах социализма, которые при всей антисоциалистичности большевистской доктрины, тем не менее, как инородные тела, проникали в противоестественной комбинации с большевистской идеологией и большевистским толкованием и лишь таким образом становились доступны для всеобщего ознакомления.

Но я сильно сомневаюсь, чтобы прекращение такого рода ненормальных условий распространения социалистических идей представляло невознаградимый урон для этих самых идей и чтобы учение Маркса в его целом сколько-нибудь пострадало от закрытия всех воздвигнутых большевиками пышных храмов казенного марксоевения. Это не мешает мне, конечно, во имя справедливости, признать, что усилиями отдельных лиц и в растлевающей обстановке большевистского режима кое-что было сделано — в области, скажем, истории идей и собирания материалов и документов.

Но та же справедливость обязывает меня и к тому, чтобы заранее предвидеть, что как раз тот ожидаемый нами ущерб марксизму и социализму будет нанесен не столько усилиями новой деспотической власти, сколько той общественной, а не правительственной реакцией против этих идей, а эта реакция явится закономерным следствием многолетнего большевистского засилья, расплатой за него, независимо от того, придет ли на смену большевизму новая деспотия или самая превосходная демократия. Так называемый же бонапартизм даже в самой гнусной своей разновидности окажется меньше всего тут при чем, меньше всего тут виною...

Не менее существенно и важно также и несомненное бессилие будущей, гипотетически мыслимой нами диктатуры в другом направлении, бессилие расправиться с тем, что можно назвать уцелевшими и при большевистском режиме завоеваниями революции.

Большевизм разогнал Учредительное собрание, перечеркнул февральские свободы, уничтожил какую бы то ни было общественную самодеятельность, всякий организационно-самостоятельный почин. А то, на что из идей и дел «февраля» он не посягнул и посягнуть бы не мог, главным образом из боязни крестьянской стихии, то он исторически противозаконно присвоил себе как свое,

якобы «октябрьское», достижение. Так он узурпировал и провел в безобразно насильственной, нерациональной, беспорядочной форме уже ранее предрешенную ликвидацию помещиков и переход их земли к крестьянам. Так, лишь санкционировав ту плебейзацию общественности, которая тоже родилась в феврале, он пытался, где только мог, превратить ее, под ферулой своей регламентации, в карикатуру какого-то нелепого дворянства навыворот.

И, однако, несмотря на все это, остаток революционных завоеваний в основном, в своем существе, сохранился неприкосновенным и до настоящего времени. И таким же, конечно, неприкосновенным перейдет и ко всякой будущей власти. Стихия истории успела законсолидировать его и сделать недоступным для покушений со стороны каких бы то ни было превратностей метаморфизирующейся власти. Недаром она устранила из самых мрачных наших прогнозов перспективу монархической и всякой другой ей сопутствующей «реставрации». Дальше «бонапарта», уже обокраденного большевиками до того, что «бонапарт» потерял всякий исторический смысл, не рискует идти самое напуганное воображение, упираясь, как в стену, в этот попавший под охрану истории и ставший незыблемым — крестьянско-плебейский остаток революции...

Но, разумеется, бессилие ухудшить и без того из рук вон скверное положение не обеспечило бы за диктатурой, преемницей большевистской, признания ее известным шагом вперед в освободительном процессе России. Для этого нужно, чтобы не только она чего-то сделать не могла, но также, чтобы она что-то действительно сделала, — сделала хотя бы против собственной воли, не сознавая исторического смысла совершаемого ею. А это что-то в нашем случае есть неизбежный при будущей смене диктатур кардинальный перелом в сознании народных, и в особенности пролетарских, масс в отношении к власти.

С исчезновением большевизма у власти исчезнет наконец и та роковая двусмысленность, которая в течение ряда лет, вопреки здравому смыслу и наперекор очевидности, свинцовой гирей висела над сознанием народа, сыздавна привыкшего видеть врагов своих с правой, а друзей своих с левой стороны. Перед народом же находился хамелеон, переливавший всеми цветами, начиная от ультракрасного и кончая полярно противоположным — ультрафиолетовым. Посмотришь с одной стороны, послушаешь, какие идеологические узоры разводит, какие интересы и идеалы претендует представлять, и прямо утонешь в потоках источника благородства! Ну а посмотришь с другой стороны, и видишь — звериную морду, мертвую хватку, вспомнишь всю беспросветную тьму материальной скудости и рабьего послушания, все синяки,

преподносимые прозою повседневной, будничной жизни, и как будто бы готов преисполниться чувств, совсем непохожих на чувство любви и солидарности...

Раздвоенный в своем сознании народ — особенно же рабочий народ городов — становился в этих условиях Гамлетом и все не был в состоянии окончательно и бесповоротно утвердиться в своем мнении о том, что же — свой брат или не свой эта власть, незадачливый ошибающийся друг или подлинный предатель враг?

И эпоха народного гамлетизма до сих пор еще не дописала своей последней главы, не сказала своего последнего слова, мешая концентрации воли к борьбе, созданию объединенного фронта для восстановления в России демократии и свобод...

И в этом отношении даже самый дрянненький кружковый «дворцовый переворот», в котором, конечно, не только социал-демократу, но и буржуазному демократу делать нечего, к которому рук ему не пристало, да и невозможно, прикладывать, может оказаться тем ничтожно-малым кристалликом, который при всей своей малости приводит в движение неограниченно-большое количество пересыщенного раствора, без его посредства не могшего до тех пор выйти из своего напряженного тяжелого равновесия.

Крушение большевистской диктатуры от такого рода малости, как кружковой переворот, т. е. в сущности от ее собственного разложения-распада, подорвав еще сохранявшийся в глазах масс престиж большевизма, в то же время — и это главное — поставило бы эти массы в непосредственное соприкосновение с новой безответственной властью. У этой власти, однако, в отличие от прежней, уже не имелось бы более столь мощных ресурсов сбивающей с толку демагогии. Благодаря этому положение стало бы проще и много яснее.

Перед массами оказался бы враг уже не с опущенным, а с приподнятым забралом, и массы обрели бы в его лице ту точку приложения сил, тот фокус политического противодействия, в которых они так нуждались, чтобы выйти из своего состояния оцепенелости и маразма. Таким образом, новая власть, запоздавший горе-бонапарт, ни в каком случае не задержала бы, а, наоборот, ускорила бы ликвидацию всех и всяческих диктатур; ликвидацию, которая пришла бы, вероятно, много позже без ее оперативного вмешательства в дело разложения большевизма...

Не следует при этом упускать из виду еще одно, далеко немаловажное, обстоятельство. Самая скверная послебольшевистская диктатура ходом вещей вынуждалась бы к раскрепощению частнохозяйственной инициативы, к ослаблению, если не к совершенному уничтожению, удушающей казенщины. И тем самым даже она могла бы послужить исходным толчком к скорейшему восстановлению

российской экономики, к тому действительному росту производительных сил, который так нужен для развития более здоровой и более дееспособной общественности. И, следовательно, даже она явилась бы государственной формой, в которой быстрее и легче начала бы развиваться в масштабе массового движения борьба за ниспровержение деспотии, за демократизацию общественного строя.

При этом, однако, естественно возникает одно соображение, которое, буде оно оказалось бы правильным, должно было бы внести некоторые поправки в только что представленную нами гипотетическую картину. А именно: не нашла ли бы новая деспотия достаточно прочный фундамент, даже и против движения народных низов, в буржуазных элементах послебольшевистской России, в ее хозяйственно-крепком крестьянстве? Ведь страх грядущего «бонапартизма» в значительной степени приурочен именно к этой предполагаемой и уже начавшейся «бонапартизации» значительных слоев современной деревни.

Допустим на минуту, что это так и что буржуазная диктатура найдет себе твердую базу и окажется долговременной, «стабилизированной». Будет ли, однако, это говорить что-нибудь, с точки зрения исторического прогресса в его целом и с точки зрения в особенности самих народных низов, — против выгоды перехода от диктатуры фальшиво-коммунистической и обманно-пролетарской к диктатуре даже воинствующей и консолидированной буржуазии? Мы не колеблясь ответим: нет! Как нами уже было показано, этот переход будет во всяком случае переходом от застоя к движению, от инерции к борьбе.

А затем, если бы даже, действительно, оказалась возможной такая буржуазная деспотия не в виде «калифа на час», то это означало бы только, что многолетний режим большевистских хозяйничанья и господства накопил в своих недрах эти запасы реакции, что он является ее настоящим крестным отцом. Но и в таком случае мы вправе сказать, обращаясь к истории, словами Христа к Иуде: что делаешь — делай скорей!..

К счастью, однако <...> наши послебольшевистские перспективы далеко не так однотонно мрачны. На самом-то деле они значительно более сложного и внутренне противоречивого характера.

